



А. И. КОШЕЛЕВ

Мои воспоминания об А. С. Хомякове

Первое мое знакомство с А. С. Хомяковым было в 1823 году, в Москве, в доме Веневитиновых. Короче друг с другом мы сошлись в Петербурге, в марте 1827 года, во время предсмертной болезни Дмитрия Веневитинова. Брат Хомякова Федор ухаживал за больным как нежнейшая мать или сестра, а нас (своего брата Алексея и меня) он почти не впускал к больному, находя, что мы очень неловки и только его тревожили своим уходом. Но время этих нескольких суток, проведенных нами вместе, в третьей комнате от больного, среди тревог и страхов, мы много толковали и спорили о философии вообще, и о Шеллинге в особенности, о христианстве и о других жизненных вопросах, и вследствие того очень сблизились. Затем, во время моего пребывания в Петербурге с 1827 по 1831-й год, А. С. Хомяков часто жил там, и тогда почти ежедневно мы виделись или у князя Одоевского, или у К. А. Карамзиной, или друг у друга. Хомяков всегда был строгим и глубоковерующим православным христианином, а я — заклятым шеллингистом, и у нас были споры бесконечные. Никогда не забуду одного спора, окончившегося самым комическим образом. Проводили мы вечер у князя Одоевского, спорили втроем о конечности и бесконечности мира, и незаметно беседа наша продлилась до трех часов ночи. Тогда хозяин дома нам напомнил, что уже поздно и что лучше продолжить спор у него же на следующий день. Мы встали, начали сходить с лестницы, продолжая спор; сели на дрожки и все-таки его не прерывали; я завез Хомякова на его квартиру; он слез, я оставался на дрожках, а спор шел своим чередом. Вдруг какая-то немка, жившая над воротами, у которых мы стали, открывает форточку в своем окне и довольно громко говорит:

Mein Gott und Herr, was ist denn das? * Мы расхохотались, и тем окончился наш спор.

В Петербурге, у князя Одоевского, мы часто встречали профессора Велланского, графа М. Ю. Виельгорского и других умных и ученых людей. В наших беседах принимал живое участие приехавший из Москвы наш приятель В. П. Титов. Вечера и обеды у князя Одоевского все более и более скрепляли нашу дружбу и сильно содействовали к нашему умственному и нравственному развитию. У К. А. Карамзиной мы видали часто Блудова, Жуковского. П. А. Муханова и других; а из женщин особенно нас очаровывала и красотой, и умом девица Россети, вышедшая впоследствии замуж за Н. М. Смирнова. Хомякову она внушила стихи «Иностранке»; но когда она их узнала от П. А. Муханова, то осталась ими очень недовольною и некоторое время относилась к Хомякову весьма холодно. В карамзинской гостиной предметом разговоров были не философские предметы, но и не петербургские пустые сплетни и рассказы. Литературы, русская и иностранная, важные события у нас и в Европе, особенно действия тогдашних великих государственных людей Англии Каннинга и Гускиссона составляли всего чаще содержание наших оживленных бесед. Эти вечера, продолжавшиеся до поздних часов ночи, освежали и питали наши души и умы, что в тогдашней петербургской душевной атмосфере было для нас особенно полезно. Хозяйка дома умела всегда направлять разговоры на предметы интересные.

Так прожили мы до июня 1831 года, когда я, больной, отправился за границу. Свиделся я опять с Хомяковым в Москве в начале 1833 года. С того времени мы зимою постоянно жили в Москве, очень часто видались и у него, и у меня, и особенно у И. В. Киреевского. Последний жил у Красных ворот с своею матерью А. П. Елагиною, которую мы все горячо любили и глубоко уважали. Тут бывали нескончаемые разговоры и споры, начинавшиеся вечером и кончавшиеся в 3, 4, даже в 5 и 6-м часу ночи или утра. Тут вырабатывалось и развивалось то направление православно-русское, которого душою и главным двигателем был Хомяков.

Многие из нас вначале были ярыми западниками, и Хомяков почти один отстаивал необходимость для каждого народа самобытного развития, значение веры в человеческом душевном и нравственном быту и превосходство нашей Церкви над учениями католичества и протестантства. Впоследствии большинство

* Боже мой, Господи, что же это такое? (нем.). — Ред.

из нас перешло, по искреннему убеждению, к этому направлению; но некоторые из наших приятелей и собеседников остались при своих с Запада полученных мнениях и воззрениях и прозвали нас славянофилами, хотя расположение и любовь к славянам никогда не составляли самую существенного основания наших убеждений.

В наших беседах читались разные статьи, которые, за строгостью и бессмысленностью цензуры, не могли быть переданы печати. Хотя вера и философия были преимущественными предметами этих бесед, однако часто возбуждались и политические вопросы, и в особенности вопрос о прекращении крепостной зависимости крестьян и дворовых людей. Насчет способов и времени совершения сей реформы были между нами разногласия: Киреевские, как Иван, так и Петр, опасались радикальных и спешных по сему предмету мер, а Хомяков и я, мы крепко отстаивали полное освобождение крестьян посредством одновременную выкупа по всей России. Но все мы были согласны в том, что крестьяне должны быть наделены землею и что птичья свобода для крестьян была бы не добром, а величайшим бедствием, не шагом вперед, а страшным шагом назад. Быт народа русского и его воззрения, как вероисповедные, так и общественные, были самою любимую темою наших разговоров. На вечерах у Елагиной, Киреевских, Свербеевых и у нас бывали Чаадаев, Герцен, Грановский и другие сторонники противных мнений. Явились туда также молодые люди К. Аксаков, Ю. Самарин, Попов, Валуев, В. Елагин и другие, которые не замедлили вполне присоединиться к православно-русскому направлению и подчиниться благому влиянию Хомякова. Эти вечера много принесли пользы как лицам, в них участвовавшим, развивая и уясняя их убеждения, так и самому делу, т. е. выработке тех двух направлений, так называемых славянофильского и западного, которые ярко выказались в нашей литературе сороковых и пятидесятых годов.

Так протекли многие годы, и только война с Турциею в союзе почти со всею Европою своими тяжкими ударами несколько изменила характер этих бесед. Уже не Церковь с своими догматами и учреждениями, не философия немецкая, не община с своими обычаями и установлениями занимали нас преимущественно. Грозные события 1854 и 1855 годов приковали к себе все наше внимание. Мы все чувствовали, что бедствия, которые испытывала Россия, ею вполне заслужены, и по этому поводу Хомяков с особенным жаром и увлечением говорил о том, что безнаказанно нельзя ни стеснять и подавлять дух человеческий,

ни допускать его стеснение и подавление. Вскоре начавшееся новое царствование подало нам надежды на лучшее будущее. Утомленные гнетом только окончившегося тридцатилетнего царствования, мы радостно собрались у меня вечером в самый день присяги Государю, весело выпили за Его здоровье и от души пожелали, чтобы в Его царствование совершилось великое дело освобождения крестьян и русский человек мог ожить умом и духом.

Вскоре после того мы задумали издавать журнал¹, но препятствий к тому оказалось много. В сотрудниках, и весьма даровитых, у нас не было недостатка; но многие из них, Хомяков, И. Киреевский, К. Аксаков и некоторые другие, были под цензурною опалою, т. е. все их статьи должны были цензоваться не в Москве, а исключительно в Петербурге. Такое распоряжение было сделано вследствие статей, ими представленных к напечатанию во 2-й книге «Московского сборника»². Я был несколько раз у попечителя университета В. И. Назимова, ездил в Петербург к А. С. Норову, тогдашнему министру народного просвещения (в то время цензура еще не была передана в Министерство внутренних дел); отправлялся туда и Хомяков. Наконец, после долгих хлопот и разного рода разъяснений, особенно при горячем содействии В. И. Назимова, я получил разрешение издавать журнал под именем «Русская беседа». С особенным жаром посвятил себя этому изданию А. С. Хомяков и верно исполнил данное им мне слово: не отказываться ни от какой работы, которую я как издатель и редактор на него наложу. В «Беседе» он напечатал много стихотворений и статей: последние появлялись то с подписью его имени, то от имени «Беседы». Они все вошли в 1-й том полного собрания его сочинений, напечатанного в Москве³. К удовлетворительному ходу «Русской беседы» особенно много содействовал Хомяков не только помещением в ней своих сочинений, но и тем, что он умиротворял возникавшие в среде ее сотрудников разногласия. Всех требовательнее и настойчивее был К. Аксаков, и тут мне не раз случалось обращаться к Хомякову для укрощения порывов его исключительности. Впрочем, дело шло у нас ладно, и в течение пяти лет не было напечатано в «Русской беседе» ни одной статьи, которая бы возбудила неудовольствие кого-либо из сотрудников.

Не могу не упомянуть об одном случае, бывшем при издании «Беседы» и окончившемся особенно счастливо по милости Хомякова. Напечатана была в 1858 году статья «Вырождение болгар», где греко-фанариоты выставлены были в настоящем их

виде и где обстоятельно описывалось угнетение болгар цареградским патриархатом. Эта статья, пропущенная цензурою, вызвала замечания тогдашнего обер-прокурора Св. Синода графа Александра Петровича Толстого, и в цензурном комитете получена была бумага, которою требовалось от редакции «Русской беседы» разъяснения и делались ей разные внушения. Я тотчас же отправил эту бумагу в копии по эстафете в деревню к Хомякову, который через два дня доставил мне великолепный ответ на все предъявленные мне замечания и внушения. Я велел этот ответ переписать, подписал и отправил его в цензурный комитет. Ответ был таков, что уже более мы не получали никаких замечаний и внушений, хотя и продолжали писать и печатать статьи в том же смысле. Прилагаю ниже этот ответ.

Опубликование высочайшею рескрипта на имя виленского генерал-губернатора несказанно обрадовало Хомякова, и он всею душою предался разъяснению в беседах вопроса об освобождении крестьян. Он следил с самым живым участием за ходом этою дела, как в губернских комитетах, так и в Редакционных комиссиях, учрежденных в Петербурге. Он вообще не одобрял действий ни тех ни других, находя, что первые руководствовались узкими сословными интересами, а вторые не обращали надлежащего внимания на требования в этом деле народного духа и быта. Он особенно не одобрял предположений, касавшихся переходного девятилетнего положения для крестьян, устройства волостного суда и управления и тех статей, которые, по его мнению, подкапывали русскую общину. Это свое неодобрение переходною состоянием и свои мысли насчет выкупа он ясно и резко высказал в письме к Я. И. Ростовцеву. В этом письме, коего черновой подлинник сохранился в бумагах покойного, он пространно и обстоятельно доказывал несостоятельность девятилетнего переходного положения и необходимость одновременного обязательною выкупа*. Сам он не дожидаясь окончательного решения этого дела. Он скончался от холеры 23 сентября 1860 года в своей деревне, в с. Ивановском Донковского уезда Рязанской губернии.

* Письмо к Ростовцеву о способе увольнения помещичьих крестьян от крепостной зависимости ныне вошло во второе издание первого тома Сочинений А. С. Хомякова (М., 1879, с. 639). Письмо это до такой степени замечательно, что Я. И. Ростовцев, как мы слышали от лиц кк нему близких, выражал намерение пригласить Хомякова к участию в трудах Редакционных комиссий; но приглашение это почему-то не состоялось. П. Б.

Имея счастье много лет пользования дружбою А. С. Хомякова и быть с ним в самых коротких отношениях, я могу сказать, что в моей жизни мне не случилось встретить человека более постоянного в своих убеждениях и в сношениях с людьми. Я знал Хомякова 37 лет, и основные его убеждения 1823 года остались те же и в 1860 году. Вместе с тем никак нельзя было упрекать его в косности. Напротив, он постоянно шел вперед в развитии своих мыслей, тщательно всматривался в события и сопровождавшие их обстоятельства, угадывал очень удачно их внутренний смысл и соображал свои мнения с их требованиями. Многие упрекали его в любви к софизмам и спорам и уверяли, что он противоречил часто сам себе, защищая сегодня то, что он опровергал накануне. Такой упрек показывает лишь одно, что люди, позволявшие его себе, не вникали в глубокий смысл его слов. Действительно, он иногда как будто противоречил себе: так, в беседе с иными людьми он словно отделялся от Православной Церкви, нападая на некоторые ее обряды, на ее служителей и на подчиненное ее положение гражданской власти, и позволяя себе все это даже осмеивать; в беседе же с другими лицами он крепко отстаивал необходимость соблюдения церковных обрядов и строго порицал тех, которые, самовольно или из пренебрежения, или из личной гордости, позволяли себе становиться выше Церкви и не исполнять ее установлений. В таких его речах было только видимое, а вовсе не действительное противоречие. Для Хомякова дороже всего была жизнь, правда, как в Церкви, так и в человеке. Когда он видел перед собою людей, для которых обрядность составляла суть Церкви, то считал долгом разить эту обрядность; когда же, напротив того, он встречал людей, которые, соглашаясь с главными догматами Церкви, с ее идеальной стороною, считали обряды принадлежностью толпы, а не развитой части исповедников, то он защищал обряды, будучи глубоко убежден в том, что мы, как люди, должны иметь и определенные, осязательные формы для выражения наших чувств и убеждений, что мы обязаны дорожить связью с народом, отнюдь себя из него не исключать и быть с ним в возможно полном единстве. Он был душою предан свободе, всегда имел ее в виду и крепко за нее ратовал, и вместе с тем он отстаивал самодержавие. Многим казались такие его речи софизмами; а между тем тут, в его понятиях, не было ничего противоречащего. Хомяков пуще всего ненавидел ложь, а именно такую представлялась ему всякая западноевропейская конституция, переложенная на нашу почву. Он глубоко был убежден, что система противувесов (*system des contre-poids*),

господствующая на Западе, была произведением ложного, внешними обстоятельствами обусловленного развития тамошнего просвещения и тамошней жизни, что она совершенно неприменима к России, что у нас должна быть иная, более полная, более человеческая свобода и иная более сильная, более действительная власть; и что мы сумеем согласовать самодержавие с широкою гласностью и со всенародным представительством. Он мог ошибаться, но никогда и ни в каком случае он не позволял себе говорить против своих убеждений, а убеждения его были так тверды и постоянны, как едва ли в ком-либо из русских. Случалось мне его упрекать в том, что он излагал свои мнения в виде софизмов, и я получал от него в ответ: «Наше общество так апатично, так сонливо, и понятия его покоятся под такою толстой корою, что необходимо ошеломлять людей и молотом пробивать кору их умственного бездействия и безмыслия».

Во все продолжение нашей дружбы, т. е. слишком тридцати лет, ни разу Хомяков на меня не сердился, и никогда, ни на один день, не было между нами холодности. Случалось мне на него сердиться и даже его бранить, но своею детскою кротостью он тотчас меня обезоруживал, и никогда мы с ним не расходились с дурным чувством друг против друга. Как он способен был сильно любить, так и сильно ненавидеть; но он ненавидел не людей, даже не представителей каких-либо мнений, а развратников и существа бездушные, употреблявшие насилие к достижению своих целей. Пуще всего он ненавидел насилие, в каком бы виде оно ни являлось. Благотворения путем насилия возбуждали особенное его негодование, и он беспощадно разил либералов, которые желали быть благодетелями народа вопреки его желаниям. Он был не скор на осуждения, старался переноситься в положение тех, кого в чем-либо обвиняли, и позволял себе порицание даже жесткое, но не иначе как по обсуждении всех обстоятельств дела и по оценке тех побуждений, которыми обвиняемый мог руководствоваться. Вообще же он был чрезвычайно благодушен к людям, и только в крайнем случае он позволял себе показывать к человеку неуважение. Особенно кроток он был к людям глупым и уверял, что он еще в жизни не встречал ни одного дурака и что в глупейшем человеке есть сторона, в которой он умен.

Простота его обхождения была очаровательна. Он себя ценил очень невысоко, даже чересчур невысоко, никогда и никому не давал почувствовать свое над ним превосходство и ко всем относился как к существам вполне ему равным.

Хомяков интересовался всем, имел обширные сведения по всем частям человеческого знания, и не было предмета, который был бы ему чужд или в котором бы он не принимал участия. Помню, однажды отправились мы на вечер к Свербеевым, куда нас пригласили для беседы с одним русским, возвратившимся с Алеутских островов. Шутя я говорю ему: «Ну, друг Хомяков, придется тебе нынче послушать и помолчать». В начале вечера действительно Хомяков долго слушал этого заезжего русского, расспрашивал его подробно насчет Алеутских островов, но под конец высказал ему по этому предмету такие сведения и соображения, что путешественнику почти приходилось обратиться оглобли и ехать откуда приехал, для окончательного ознакомления с местами, где он пробыл уже несколько лет.

Память и способность скорочтения были в Хомякове изумительные. Помню однажды, в споре богословском с И. Киреевским, он сослался на одно место в творениях одного св. отца, которые он читал лет пятнадцать тому назад в библиотеке Троицкой лавры и которые только там и имелись. Киреевский усомнился в верности цитаты и сказал Хомякову в шутку: «Ты любишь ссылаться на такие книги, по которым тебя нельзя поверить». Хомяков указал почти страницу, 11 или 13, и место на этой странице (в середине), где находится сделанный им цитат. По учиненной справке, ссылка его оказалась совершенно верною. (Это было редкое издание творений св. Кирилла Иерусалимского.) Однажды он увидел у меня на столе три-четыре книги, только что купленные, и взял их у меня на одну ночь. На следующее утро книги были мне возвращены; и когда после, месяц спустя, я их прочел и вздумал экзаменовать моего скорочеца, то убедился, что он в одну ночь внимательнее их прочел, чем я в течение целого месяца.

Хомяков сочинял свои статьи нескорю: он долго их обдумывал и обрабатывал в голове; но когда он начинал их писать, то они выливались у него на бумагу быстро, и он мало их исправлял. Стихотворения свои он почти никогда сам не передавал бумаге; по большей части их записывали те, кому он их сообщал. Когда случалось упрекать Хомякова в том, что он слишком мало пишет и слишком много говорит, то он отвечал: «Изустное слово плодотворнее писанного; оно живет слушающего и еще более говорящего, чувствую, что в разговоре с людьми я и умнее, и сильнее, чем за столом и с пером в руках. Слова произнесенные и слышанные коренистее слов писанных и читанных».

Обряды церковные, и в особенности посты, он соблюдал строго, никогда при том не осуждая тех, которые в этом отно-

шении действовали иначе. Даже в Париже, где в первый раз он был в ранней молодости, он сумел во весь Великий пост ни разу не оскоромиться. Он говорил, что содержит посты потому, что Церковь их установила, что не считает себя вправе становиться выше ее и что дорожит этою связью с народом. В церковь он ходил очень прилежно, и хотя имел привычку вставать по утрам поздно, часу в 12-м, однако по праздникам не пропускал обедни и часто ходил даже к заутрени. Молился он много и усердно, но старался этого не показывать и даже это скрывать. Никто и никогда не мог упрекнуть его в святостестве. Для Хомякова вера Христова была не доктриною и не каким-либо установлением; для него она была жизнью, всецело обхватывавшею все его существо. Когда он говорил о Христе и его учении, о различных вероисповеданиях и церквах, и о судьбе христианства в прошедшем, настоящем и будущем, — тогда в словах его была какая-то сила необычайная, возбуждавшая в слушателях понятие о деятельности апостольской. И жизнь его подкрепляла силу его слов.

В заключение не могу не упомянуть о редкой способности Хомякова привлекать к себе и привязывать и стариков, и сверстников своих, и молодежь. Он становился средоточием везде, где находился, и в Москве, и в каждой гостинной, куда он приезжал. Этим он был обязан, конечно, своему обширному, глубокому и своеобразному уму и своей всегда живой и завлекательной речи, но еще более кротости и безобидности своей беседы. Молодежь, особенно свирепая, как он ее называл, расположенная к тому, что впоследствии названо было нигилизмом, была предметом его особенной заботливости. Он любил беседовать с этими юношами, которые были к нему чрезвычайно хорошо расположены, и он на них действовал благодетельнее всяких проповедей и других внушений.

Да! Жизнь этого человека была постоянным подвигом на благо ближнего, подвигом, который достойно оценится разве потомством.

28 февраля 1873

